

ДИАЛОГ

ISSN 0236-0942

ВО ИМЯ СТАБИЛЬНОСТИ, МИРА И СОГЛАСИЯ

13/1991 сентябрь



*Начальник Главного
управления
по исправительным делам
МВД СССР Владимир Гуляев*

ТЮРЬМЫ
ВСЕГДА БЫЛИ
ИНДИКАТОРОМ
ОБСТАНОВКИ
В ОБЩЕСТВЕ —
ПРИ ЛЮБОЙ
КРУПНОЙ
РЕФОРМАЦИИ
ИХ «ТРЯСЕТ»
ПЕРВЫМИ.
ТЕ, КОМУ НУЖНЫ
НАПРЯЖЕНИЕ,
БЕСПОРЯДКИ,
РАЗГУЛ
ПРЕСТУПНОСТИ,
И В ТЮРЬМЕ
ИЩУТ СВОЮ ОПОРУ.

Землетрясение

Мои права —
моя свобода

Вся президентская рать

Хозяин Пражского града

Этюды психиатра:

царь Саул

Рабочий в Европе

■ ТАЙНЫ АРХИВА

ГОД НА РОДИНЕ

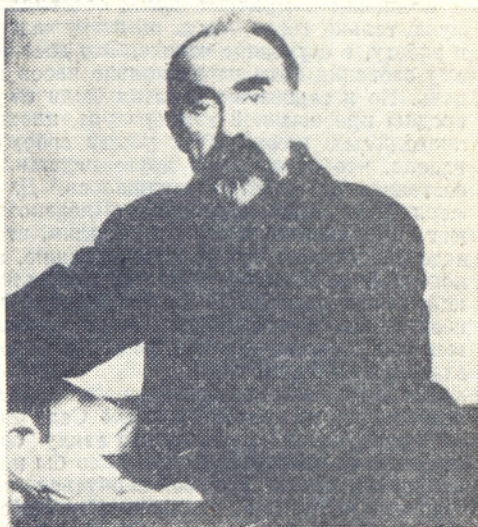
Розалия ПЛЕХАНОВА

П

ресловутая формула Троцкого: «мы выходим из войны, но не подписываем мира», вызвала со стороны Георгия Валентиновича очень строгий отзыв: «Эта формула, — сказал он, — рассчитана с одной стороны (2-й своей частью) на фантастов, а с другой (1-й своей частью) на деморализацию солдат. Деморализация — это есть основа власти большевиков».

Когда же в скором времени последовало согласие Ленина на все требования немцев и рабский ответ на ультиматум их, то Плеханов с горечью сказал: «Ленин всю Россию отдаст, лишь бы оставили ему маленький клочок земли, хотя московский уезд, для социалистического опыта. Ленина можно уподобить тем московским князьям, которые ползали на брюхе перед татарскими ханами, желая удержать за собой свои княжества. Ленин, также цепляясь за власть, ползает на брюхе перед Вильгельмом»⁸.

Глубоко печалила Георгия Валентиновича измена России со стороны Украины и унижения последней перед немцами. Когда скоро после большевистского переворота Украина, сделавшись пунктом сконцентрирования демократических сил местных и спасавшихся из Великороссии, решила созвать Учредительное собрание, у Плеханова явилась надежда, что Киев — мать русских городов, делается опять ядром, вокруг которого сгруппируется вся Россия. Георгий Валентинович не мыслил Россию отделенной от Малороссии. Для него это были две части



Г. В. Плеханов

одной России, он горячо любил каждую часть в отдельности, так же как и целое. Когда же представители Украины пошли вслед за Лениным и Троцким на поклонение к немцам, даже проявили партикуляризм и конкуренцию на поприще выторговывания лучших условий мира, Георгий Валентинович был глубоко огорчен, видя в этом конец своей страны как целого.

«Разложение это поведет к потере нашей экономической самостоятельности. Русская земля превратится в колонию для немцев и других государств. Брест-Литовский мир и социалистический опыт Ленина отбросит нас на много десятков лет назад. Мы не вынесем экономического разорения и нас возьмет Европа под опеку, как взяла она Китай. Мы погибем, как погибли раньше нас восточные деспотии».

Россия терзалась и рвалась на части, и Плеханов страдал, бессильный помочь этому [противостоять. — Публ.]. Как-то раз, когда я ему ставила банки, он мне сказал полушутя, полусерьезно: «Ну зачем банки, не легкие у меня болят, это Брест-Литовский *gentre**; а против этой болезни ничего не сделаешь».

Прав был один товарищ, который писал после смерти Плеханова, что сердце не выдержало Брест-Литовска. Брест и

* Синдром (фр.).

⁸ Вильгельм II (1859—1941) — германский император и прусский король в 1888—1918 гг. Активно способствовал развязыванию первой мировой войны.

Продолжение. Начало см.: Диалог, 1991, №№ 8—12.

Украина не выходила из его головы. Они мучили его еще тогда, когда он был при полном сознании, они питали его бред в последние часы его жизни.

Волнения и мрачные думы оставляли мужа только тогда, когда он погружался в работу, в серьезное чтение. Это давало ему забвение хотя на несколько часов в день. Но и серьезные занятия были ему вредны при высокой температуре, плохо проводимых ночах. Я к ужасу своему видела, что силы моего друга падали и состояние его легких ухудшалось. Для меня было ясно, что спасти Плеханова мог бы только юг Франции, Италии, что надо было везти его не в Финляндию, а подальше от России, тяжелых впечатлений, газет, друзей и т. д. Но было уже поздно. Он был слишком болен, чтобы вынести длинное путешествие. Да и согласился ли бы он?

Не раз я говорила мужу еще во время пребывания нашего в Царском Селе и во Французской больнице, что ввиду состояния его здоровья лучше было бы покинуть на время Россию, вернуться за границу, в Италию, к нам в Сан-Ремо, где здоровье его пойдет быстро на поправку, где он спокойно сможет довести до конца свою «Историю общественной мысли». Я затрагивала в данном случае живую струну его души, так как мысль о том, что он не доведет до конца своей работы, очень беспокоила его. Предложение мое было очень заманчиво, но он решительно отказывался остановиться на нем. «Я не покину Россию теперь в самый критический момент ее жизни. Хотя я и слаб, прикован к постели, но у меня еще имеется перо в руках, я могу еще бороться, мой голос нужен, я Россию не покину. Я не могу жить спокойно, зная, какие творятся здесь ужасы. Что будет — то будет».

На отъезд в Финляндию, в окрестности Петрограда, Плеханов согласился только потому, что он сможет быть с ним в частых сношениях и при первой надобности вернется на родину.

Время пребывания Г. В. Плеханова в финляндском санатории надо разделить на два периода. В первый, от 28-го января с. с. до 18 марта, как я писала выше, Георгий Валентинович, хотя и мучимый температурой, кашлем, был бодр, работал серьезно, делал записи, охотно беседовал с изредка посещавшими его друзьями. Второй период — период медленного угасания, начался 18-го марта. Но об этом последнем периоде — впереди. Работа мысли несомненно утомляла его, но он забывался за ней. Она давала ему душевное спокойствие. Следя за состоянием его здоровья, я находила, что тяжелые думы хуже отражаются на нем, чем умственная работа. Для отдыха я

читала ему беллетристов русских и иностранных, отчасти привезенных нами, отчасти найденных в небогатой, но недурно подобранной библиотеке санатория. Но скоро оказался у нас книжный голод. Оказалось, что я не захватила с собой некоторых книг, заготовленных мужем для работы по истории общественной жизни.

Надо сказать, что наш отъезд из Царского Села, как и оставление Петрограда, были равносильны бегству. Я и друзья старались увезти больного Плеханова от бушевавшей и первой и второй раз стихии. Хорошо ли мы сделали? Я думаю, что нет. Как бы то ни было, сборы наши были быстры. Часть вещей и книг мы оставили на попечение друзей. Уверенная в том, что из Царского Села я все увезла кроме некоторых брошюр, я написала друзьям в Петроград, прося привезти книги и как можно скорее. Я ждала присылки книг с не меньшим нетерпением, чем муж, по двум причинам: во-первых, мне тяжело было выслушать его горький упрек, что я забыла привезти самое существенное для него. А во-вторых, отсутствие заготовленных для работы книг было настоящей катастрофой. Оно повлечет углубление в тяжелую действительность. Беллетристкой не отвлекусь его от нее. Но книг в Петрограде не оказалось, и наши молодые друзья супруги Касык привезли газеты, письма, несколько номеров журнала «Психология и философия», но книг, указанных мною в письме, не нашли. Муж очень обрадовался, как и в первый их приезд, молодым людям. Он долго и оживленно с ними беседовал, шутил, острил. На вопрос их, как он себя чувствует, он ответил: «Ничего, только лечить меня слишком принялись, слушают, стучают, колят. А я говорю докторам: сколько ни будете выслушивать, выстукивать, а все, что во мне есть, при мне и останется. Но я человек военный, начальство приказывает, и я слушаюсь. А все-таки думаешь иногда, как бы не залечили».

Признаться, от этих слов мужа мне сделалось крайне тяжело: я видела, что состояние его скверно, следила за угасанием его сил, не верила в его спасение, хотя прорывала все, что старший врач санатория советовал. Убеждала мужа, что это необходимо, а сама в глубине души своей чувствовала, что все ни к чему, а может быть, даже ускоряет конец. Не могу сказать, что я не проявляла характера и решительности за свою долготлетнюю медицинскую практику, но теперь я не верила себе, не верила своим медицинским знаниям.

Главный врач санатория, как я уже говорила выше, очень оптимистично относился к здоровью Плеханова. «Помилуйте, — говорил он мне, — где Вы видите опасность. Смотрите, как он бодр, оживлен, кроме того, хорошо ест, спит. Верно, лихорадка, несмотря на жаропо-

нижающие компрессы, не понижается и держится на относительно большой высоте. Но у него достаточно сил, чтобы дотянуть до летних месяцев, а за лето он поправится».

Я выслушивала эти слова, не убеждалась, но мне хотелось верить, и я не покидала борьбы. Плеханов не любил обертываний мокрыми компрессами и раз даже воскликнул: «Чувствую, что это меня губит, но подчиняюсь», и признаться я сильно взволновалась при этом восклицании, оно было произнесено с таким искренним убеждением, а подчинение Плеханова было так трогательно. Со времени этого восклицания прошло два года, и оно часто стоит в моих ушах, и я себя часто и мучительно спрашиваю: хорошо ли мы делаем, врачи, так мало придавая значения субъективным ощущениям и предчувствиям наших больных пациентов. Малокровный и нервный Плеханов плохо выносил прикосновение мокрых компрессов. Я мучалась, но настаивала, как глубоко я жалею об этом...

Хотя это может и неинтересно для читателя, но я позволю себе высказать все, что накопилось на моей душе за время тяжелой болезни мужа и со времени смерти его до этих пор, т. е. до настоящей минуты, когда я пишу эти строки. Сорок лет практики и медицинского опыта не помешали мне проявить нерешительность начинающего врача, когда дело шло о лечении человека, которого я любила больше жизни и для которого готова была во всякую минуту отдать ее. Я перестала верить в те методы лечения и в те лекарства, в которые верила и которые применяла в течение многих лет. Я не протестовала против применения некоторых средств, которые я находила вредными. Вот пример: я на основании опыта пришла к заключению, что применение впрыскивания мышьяка, которое вообще очень полезно легочным больным, должно быть очень ограничено, когда больные перешли известного возраста, когда имеются признаки некоторого артериосклероза. Я высказала свои опасения врачу санатория, когда он назначил мышьяковистые впрыскивания мужу. Доктор, ссылаясь на свою многолетнюю практику при санатории, наполненной исключительно легочными больными, и на почти постоянное употребление мышьяковистых впрыскиваний, уверял меня, что у него никогда не было случая кровоизлияния, которое он считал бы себя вправе приписать этому лечению. Я поколебалась, допустила впрыскивания, а через две недели у Георгия Валентиновича появилось сильное кровохаркание, которое повлекло за собой осложнения, вызвавшие преждевременный трагический исход. Нет, врачу для успешного лечения нужна объективность, а последняя невозможна, когда лечишь близкого, дорогого человека. Колебания раздирают душу, и ответственность страшна. Муж

часто мне говорил: «Отчего ты сама меня не лежишь, зачем ты стужеваешься, зачем призываешь врачей, ты знаешь, я в них не верю. Я верю только тебе». Но я сама себе не верила.

Молодые друзья не привезли нам, как я уже сказала, ожидаемых книг, но привезли последние номера «Нашего Единства» и печальное известие о смерти газеты. Ей, бедняге, трудно было существовать и раньше в счастливое, но, увы, короткое время «свободы». А теперь она не выдержала борьбы, попав в тиски новейшего железного порядка. Небольшие средства газеты взяты были властями под учет и с трудом получались из банка, и часто трудно было удовлетворить требования рабочих следуемых им за труды денег. От времени до времени красноармейцы удастанвали типографию, где печаталось «Единство», личным посещением и разбрасывали шрифт, раз, кажется, по недоразумению. Словом, газета умерла от истощения незадолго до смерти ее главного редактора, вложившего в нее душу и сумевшего, несмотря на отсутствие средств, на враждебное к ней отношение даже среди товарищей, разделявших взгляды Плеханова, поставить ее на большую моральную высоту. С первого своего появления она указывала Временному Правительству, Совету рабочих Депутатов и партиям их ложные шаги, предупреждала от ошибок в будущем, высказывалась первая против Ленина, который ведет Россию в пропасть, против преступлений полуленинцев, которые своей слабостью помогают Ленину губить Россию. «Единство» было факелом, указывавшим верный путь к спасению, и колоколом, бившим в набат при малейшей опасности.

Но Россия социалистическая была слепа и глуха, а демократия слаба. Только позже, спустя много месяцев, когда главный редактор «Единства» лежал на смертном одре, получился на его имя адрес, подписанный большой группой рабочих с заводов и фабрик Петрограда. В этом адресе говорилось, что сознательные рабочие России начинают понимать, что Плеханов был прав теперь, как и в 1906 году, и выражают сожаление, что не пошли за ним. Были и внутренние причины гибели «Единства». Оно жило Плехановым и погибло, когда силы оставили его.

Другой литературной вестью было появление новой газеты социал-демократов-оборонцев «Начало». В редакцию этой газеты вошли некоторые члены редакции «Единства».

Георгий Валентинович был доволен появлением газеты и совместной работой в ней товарищей социал-демократов-обо-

ронцев и членов группы «Единство». Шутил он только над названием газеты, видя в нем старую неопределенность и перешительность. «С 1906 года ушло уже 11 лет, а ходить наши товарищи еще не научились. Они все только начинают». Мы припомнили с мужем бледную газету полулавровского, полународнического направления, выходящую в 70-х годах прошлого столетия и прозванную так зло в студенческих кружках «Мочалом». Скукой веяло от названия. Но впечатление было стерто, когда мы ознакомились с содержанием газеты товарищей оборонцев. Плеханов нашел, что в газете имеются хорошие статьи, в особенности ему понравились статьи В. И. Засулич и И. И. Аксельрод. И в общем газета стояла на твердой боевой позиции¹.

Два дня оставались около нас наши молодые товарищи и своими рассказами о друзьях, событиях в Петрограде внесли некоторое разнообразие в нашу санаторскую уединенную жизнь и, снабженные просьбами о присылке газет, книг, вернулись на родину. Как я им завидовала. Быть в Петрограде было моей мечтой и тайной мечтой моего (друга). Наша вторая эмиграция, длившаяся всего пять месяцев, была тяжелее для нас первой, длившейся сорок лет. И это понятно: в течение первой сорокалетней эмиграции Плеханов жил и работал для родины и нравственно был спокоен, потому что создал невозможность сотворить то, что сотворено было им, если бы он оставался на родине. Он глубоко сознавал свое призвание, и это последнее требовало от него оставаться в изгнании. Теперь же он, чувствуя приближение конца, находил, что если он может еще кое-что сделать, то это возможно только на родине, в постоянном соприкосновении с друзьями и товарищами, направляя их усилия, предупреждая их от ложных шагов.

Я с ужасом видела, что 5-ти недельное пребывание в санатории ухудшило состояние Плеханова, я не делала себе иллюзий и глубоко порицала себя за то, что

покинула с моим больным Петроград. Там он не был бы одинок и в последние дни его жизни был бы окружен друзьями и почитателями. Я виновата в том, что он умрет в одиночестве.

Около 10-го марта явился к нам Лев Григорьевич (Дейч.—Публ.). Мы обрадовались ему как отцу родному. И я и муж очень любили нашего старого друга, и я предвидела для Георгия Валентиновича ряд хороших часов. Лев Григорьевич, превосходный рассказчик, много видал и слышал на своем веку, обладает прекрасной памятью, и рассказы и анекдоты сыплются у него, как из рога изобилия. Я знала, что Георгий Валентинович любил его рассказы, охотно смеялся и приходил в хорошее настроение.

Приезд Льва Григорьевича будет отдыхом от чтения и от дум.

Помню, появился к нам в санаторий Лев Григорьевич вечером, часам к шести. Весь он был сияющий, довольный. После первого приветствия начал высипать из карманов письма и газеты, из дорожной сумки всевозможную еду и продукты. Тут был и шоколад, и сахар, и компот в банках, и крупа, и сардины, и сушеные рыбки. «Откуда такая масса. Вы бы лучше в Петрограде оставили, авось у самих есть нечего». — «Это, Роза, для Жоржа, один товарищ, страстный его поклонник. Он служит в кооперативе и чуть ли не каждый день запрашивает меня по телефону, чтобы узнать, не нужно ли чего-нибудь Плеханову. Он все боится, не голодает ли Плеханов. Вы напишите ему, Роза, успокойте его и поблагодарите». Я с удовольствием и с глубокой благодарностью упоминаю здесь о добром товарище. Мы хотя и не нуждались в это время ни в чем, но такое внимание нас глубоко тронуло. Позже, когда всякое сообщение между Россией и (Финляндией) прекратилось, и когда в Финляндии наступил почти голод, все эти продукты очень пригодились и Плеханову, и другим больным санатория.

Лев Григорьевич в первое свое посещение пробыл у нас три дня. За это короткое время он оказал неизмеримое благо не только нам, но всем жителям мертвого дома. В первый же день приезда он перезнакомился со всеми, читал собравшимся вокруг столов больным газеты, рассказывал, что делается в Петрограде. В следующие дни он был уже чуть ли не со всеми близко знаком: знал их семейное положение, чем живут, нуждаются ли в средствах. К нему посыпались жалобы и просьбы. Он взял на себя по возвращении в Петроград повидаться с родными, мужьями, женами, одной дал обещание найти для мужа работу.

Мы с мужем удивлялись его живости и общительности. Испысывая ему картину чтения вслух больным, собравшимся вокруг столов, я прибавила: «Я за шесть недель почти ни с кем не познакомилась, а Лев Григорьевич за два дня успел узнать

¹ В марте — мае 1878 г. в Петербурге группой народников-бакунистов, не принадлежавших к какой-либо организации, нелегально издавалась газета «Начало». Газета освещала события освободительного движения в России и социалистического движения на Западе.

В ноябре — декабре 1905 г. в Петербурге выходила газета РСДРП «Начало». После ее закрытия подписчикам рассылались номера газет «Северный голос», затем «Наш голос», выходивших в декабре 1905 г. В 1906 г. по определению Петербургской судебной палаты издание было запрещено навсегда.

С февраля 1918 г. группа меньшевиков-оборонцев и членов организации «Единство» стала издавать социал-демократическую газету «Начало». Вышло три номера, затем газета выходила под названием «Наше начало».

все душевные тайны, материальные невзгоды жителей санатория.» — «Да он всегда был таков, — смеялся Георгий Валентинович, — ты разве не помнишь, как еще в Женеве, в первые годы нашей эмиграции, до его ареста и каторги, он был знаком со всеми, все открывали ему душу, а барыни, по словам Веры Ивановны (Засулич. — Публ.), через полчаса после знакомства, плакали ему в жилет, шепча свои душевные тайны. Он на это мастер». Эти слова были сказаны мужем с большой теплотой и любовью.

Известия, привезенные Львом Григорьевичем, были не отрадны. Брест-Литовский мир был заключен под давлением угрозы немцев. Подписан был мир по приказу Ленина без прочтения даже условий. «Воевать мы теперь не можем», — говорил Ленин, — «нам нужна «передышка», приходится подписать, что бы ни требовали немцы. Известия с западного фронта были слегка лучше. Верден держался. Немцам не удалось приблизиться к Парижу. Министерство переходит в руки Клемансо. Это последнее известие скорее обрадовало мужа. Кроме личной симпатии к этому старому бойцу, этому «renverseur ministerès»* он находил, что теперь больше чем когда-либо надо, чтобы судьбами Франции руководил человек сильный и страстно ее любивший. Таким был Клемансо². Французам, геройски державшимся до этих пор, не надо падать духом. Франция принадлежит человечеству, принадлежит нам всем. Она наша духовная родина. Гибель ее — это гибель европейской цивилизации.

«Верден держится, ах молодцы», — с горящими от радости глазами воскликнул муж.

Лев Григорьевич потребовал от меня, чтобы я воспользовалась его пребыванием для отдыха. Муж тоже настаивал на этом. Я воспользовалась предложением, так как чувствовала большую усталость, но с условием, что Лев Григорьевич не даст говорить Плеханову, а сам будет ему или читать вслух или рассказывать о старом, не касаясь жгучих вопросов текущего момента. Но, зная живость и оптимизм нашего друга, я была неспокойна насчет выполнения этого условия, поэтому часто прерывала свой отдых и заходила к моему больному и к неудовольствию убеждалась, что старые друзья обменялись ролями: рассказывал очень оживленно Георгий Валентинович, а Лев Григорьевич слушал и смеялся. «Что же это? А наше условие?» — «Ну, Роза, Вы

* Сокрушитель министерств (фр.).

² Клемансо Жорж (1841—1929) — французский политический и государственный деятель. В 1880-х гг. выступал в палате депутатов и в прессе с резким осуждением французских правящих кругов за политику колониальной экспансии, ослабляющую, по его мнению, положение Франции в Европе. Эти выступления, способствовавшие падению кабинетов Гамбетты, Ферри, Бриссона, создали ему репутацию «сокрушителя министерств».



Г. В. Плеханов
с Р. М. Плехановой.
1.05.1917 (Царское Село)

все преувеличиваете. Какой же он больной? Оживленно говорит, смеется, да он нас переживет». Но все-таки Лев Григорьевич спохватывался и превращался во внимательную чтицу и сиделку.

Я с особенной радостью и благодарностью останавливаюсь на этом первом посещении нас Львом Григорьевичем. Он ворвался неожиданно в наш мертвый дом и оживил его, как сноп света в солнечный день оживляет мрачный, наглухо забытый дом внезапным открытием окна. Он оживил, поднял дух, упавшую надежду многих из мрачных жителей санатория, и уехал, сопровождаемый сожалением и просьбами вернуться поскорее.

Я забыла сказать, что мне лично Лев Григорьевич привез очень печальную весть, а именно, о сильном ухудшении в состоянии здоровья моей сестры Анны Марковны Дукач, которая, пораженная тяжелой болезнью, оканчивала свои дни в клинике Герзони в Петрограде.

«Вам надо бы поехать в Петроград, проститься с умирающей сестрой», — сказал мне Лев Григорьевич при муже. Слова эти сильно взволновали последнего, хотя он ничего не сказал. Я поняла тяжелую борьбу его души, он очень любил и ценил Анну Марковну за ее ум и прекрасную душу, знал, как мы с ней дружили, и понимал, что видеть меня перед смертью ей будет очень отратно, но он, несмотря на видимую бодрость при посторонних, чувствовал себя тяжело больным

и опасался оставаться без меня. Сношения были так неверны. Мне могут помешать вернуться, и как же он останется один? Все это я прочтала на лице мужа и заявила, что оставить его не могу. Этот краткий, но тяжелый разговор произошел в день отъезда Льва Григорьевича.

На другой день утром Георгий Валентинович сказал мне твердым голосом: «А тебе, Роза, надо непременно поехать повидать Анну Марковну, я не хочу, чтобы из-за меня ты лишила ее последней радости. Я отдохнул за ночь, чувствую себя лучше. Ты непременно должна поехать».

Температура больного в это утро была не высока. Пульс хороший. Не нравилось мне только грустное лицо мужа. Решение это ему многого стоило и вид его говорил: «Чувствую, что не увижу тебя, но так надо, ты должна исполнить свою обязанность по отношению к сестре». Мне очень тяжело было видеть грустное лицо, я хотела остаться, но он настаивал. Уверенная в том, что со мной ничего не случится, что я вернусь в этот же день к нему, а между тем откладывать эту поездку, которую я тоже находила необходимой, — значит действительно рисковать возвращением, я наскоро собралась, дала необходимые распоряжения санитару, попросила сестру милосердия почастовать больного, и, прощаясь с мужем, заявила ему, что я покину Териоки только тогда, если на станции получу полную уверенность в том, что смогу в этот же день вернуться обратно. В час дня я покинула санаторий.

На вокзале в Териоках проверял мой паспорт и свидетельство, выданное мне доктором санатория о том, что я еду на свидание к умирающей сестре, пожилой, с симпатичным, добрым лицом товарищ-красноармеец. (Не он ли пал жертвой белогвардейских ужасов в Финляндии?) Он же уверил меня в том, что никаких препятствий к моему возвращению не будет сегодня и советовал по приезде в Петроград сейчас же на Финляндском вокзале взять обратный пропуск. Что будет завтра, не знаем, время тревожное, за Выборгом происходят сражения. Это было 14-го марта. На вокзале атмосфера была тревожная.

По приезде в Петроград я сейчас же побежала к коменданту, чтобы достать себе обратный пропуск. Тут я застала массу народа, стоящую в очереди. Проверились и выдавались пропуска в Финляндию. Я присмотрелась к публике. Все больше матросы, солдаты, рабочие, очень мало женщин. Куда ездили они? На помощь Красной гвардии? Возможно. Часа два мне пришлось ждать. Я едва держалась на ногах, а тут еще меня мучила мысль, что я не успею в эту же

ночь вернуться в санаторий. Наконец, добились пропуска. Взяв первого попавшегося мне извозчика, я попросила поскорее ехать в клинику Герзони. Только тут на извозчике начала мучить меня печальная неотвязчивая мысль, что я сестры не застану в живых, что скорее всего она уже похоронена. Быстро взбежав на лестницу, я спросила привратницу: «Что сестра?» — «Скончалась сегодня утром в 6 часов. Она лежит в своей комнате наверху». Я выслушала это известие, не волнуясь, точно чувства мои были притуплены. Я поднялась, застала мою бедную Анюту, так любившую жизнь, на кровати, усыпанной цветами, со спокойным, почти спящим лицом. Мне не суждено было в последний раз услышать ее голоса, увидеть ее живого, умного лица, но я увидела ее черты и в течение получаса сидела около и не сводила с нее глаз, точно хотела унести навеки впечатление от этих дорогих мне черт.

Многое мне припомнилось, когда я глядела на эти спокойные черты, и наше детство, и наша юность, а потом долгие годы разлуки. Ее роль связующего звена между мной, отщепенкой, и родителями, которые долгие годы не могли мне простить то, что они называли изменой с моей стороны по отношению к родителям, религии и племени. Анюта, моя добрая Анюта, старалась их убедить, утешить и меня оправдать в их глазах. Я ей бесконечно благодарна за это, так как слезы моих родителей преследовали меня долгое время в течение моей жизни.

Было 9 часов, в 10 ушел последний поезд в Финляндию. Я простилась с сестрой и отправилась на Финляндский вокзал.

В Териоки я приехала в 12 часов ночи. На вокзале было довольно много народу, много красноармейцев при ружьях. Тревожные, мхурые лица. У выхода нам заявили, что в город не пускают. Опасно. Другие приезжие помирились с этим и решили ждать. Я же и еще одна женщина, на вид городская прислуга, решительно заявили, что нам надо в город. Красноармеец, стоявший на страже, сжалился над нами и выпустил. Я была уверена, что найду извозчика с санями и за увеличенную цену он довезет меня до санатория. Но площадь перед вокзалом была пуста. Ничего не поделаешь. Надо искать ночлега в городе. Я обратилась к моей случайной спутнице, к девушке, которая покинула со мной вместе вокзал, не может ли она указать мне гостиницу или меблированную комнату, но она торопится, видимо, охваченная страхом. Действительно, кругом было жутко и пусто, и время от времени раздавались выстрелы. Впереди в темноте, около моста и на мосту виднелись человеческие фигуры с ружьями. Раздавались какие-то зловещие перекликивания. «Вы видите, барыня, надо спешить, я не могу так медленно. Нас могут пристрелить». Так говорила, убегая от меня, моя спутница. Я попросила

ее взять меня к себе ночевать. Но она решительно отказалась, заявив, что она сама едет в гости к родным и не может привести с собой чужих людей. Издали она крикнула: «Вот там, за мостом, имеется какая-то гостиница, первый переулок направо, на углу». Я вышла на широкую улицу, повернула в первый переулок и, действительно, оказался какой-то плохонький дом. Свет проходил через плохо прикрытые ставни. Я начала звать, стучать. Ни звука. Пошла дальше, мороз был трескучий, я озябла и устала.

На улицах пусто, темно, нет ни души и не к кому обратиться за указанием. Вдруг в темноте различаю человеческую фигуру. Я остановилась. Ко мне приблизился красногвардеец с красной повязкой вокруг руки, человек лет тридцати пяти с мужественным, красивым лицом. На мой вопрос: где бы мне найти место для ночевки, он предложил следовать за собой. Долго мы шли. Наконец, он остановился перед каким-то домом. «Здесь сдаются меблированные комнаты, может быть, Вам дадут переночевать». Сказав это, он поспешил удалиться. Я его просила подождать и проводить меня до гостиницы, на случай, если здесь не найду ночлега. Но красногвардеец заявил, что он мною заняться не может.

Передо мной стоял деревянный двухэтажный дом, погруженный в глубокую тьму, но наружная лестница, ведущая во второй этаж прямо с улицы, была открыта. Я начала подниматься и вдруг услышала сердитое рычание. Всмотревшись в темноту, я различила громадную собаку, стоявшую на площадке и, видимо, охранявшую вход в квартиру. Собака была над моей головой и, если бы она отличалась более воинственным нравом, то она бы одним прыжком могла свалить меня и сбросить с лестницы. Сознаю, на меня нашла некоторая робость, и в голове мелькнула мысль не податься ли назад. Но позади темная, безлюдная и бесприютная улица, впереди все-таки надежда на ночлег. Я поднялась, поравнялась со зверем, который оказался добродушным, и постучалась в двери. Долгое время не открывали. Я возобновила и усилила стук. За дверью послышались шаги, шептание, наконец вопрос: «Кто там?». «Нет ли у Вас комнаты, чтобы переночевать?». Опять шептание, долгое ожидание и, наконец, нерешительные шаги к дверям, дверь приотворяется, молодая девушка высовывает голову и, убедившись, что я одна и ничего страшного нет, впускает меня в чистенькую комнату, освещенную электричеством. Было около двух часов ночи. Измученная морально и физически, я долго ворочалась в постели и заснула только часам к четырем, а в семь была уже по пути в Питкеярви. Как я застаю своего больного друга? Спал ли он? Я имела неосторожность обещать ему возвратиться в тот же день.

(Продолжение следует)



Доктор Лидия АЛЕКСАНИЯ:

«НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, ПОМОЖЕМ»

Эти слова вы услышите на приеме у фитобиоэнерготерапевта, дипломированного врача народной медицины, почетного члена Международной ассоциации по исследованию проблем психотроники Лидии Авакимовны Алексанян.

В ТБИЛИСИ, УЛ. 1-Я ГУДЖАРИТСКАЯ, Д. 16

доктор Лида проводит:

- экстрасенсорную диагностику,
- комплексное лечение настоями уникальных сборов лекарственных растений, цветов, трав (фитотерапия),
- лечение мазями псориаза, экземы, диатеза, грибковых заболеваний лечит:

Болезни почек, печени, желудка, поджелудочной железы, гипертонию, головные боли, болезни сердца, трофические язвы, отложение солей, тромбофлебит, расширение вен, все виды кожных заболеваний, эпилепсию, астму, бесплодие, геморрой

восстанавливает работу нервной системы, помогает онкологическим больным.

Доктор Лидия АЛЕКСАНИЯ:

«Жду всех, кто нуждается в моей помощи. И будьте уверены: в Тбилиси все спокойно».

14/1991 сентябрь

ВО ИМЯ СТАБИЛЬНОСТИ, МИРА И СОГЛАСИЯ

Писатель Юрий Нагибин

ЧЕЛОВЕК
 РОЖДАЕТСЯ НЕ
 В КОЛЛЕКТИВЕ,
 ОН ФОРМИРУЕТСЯ
 ВО ЧРЕВЕ
 МАТЕРИ,
 КАК ОСОБЬ
 ЗАКОНЧЕННАЯ,
 И ДОЛЖЕН
 ОСУЩЕСТВИТЬ
 СЕБЯ В ЖИЗНИ —
 В ТРУДЕ,
 В ЛЮБВИ,
 В ЧЕМ УГОДНО,
 В БЕЗУМИИ —
 ЭТО ЕГО
 ЛИЧНОЕ ДЕЛО.
 ТОЛЬКО
 В ЭТОМ СЛУЧАЕ
 ОПРАВДАНО
 ПОЯВЛЕНИЕ
 НОВОЙ ОСОБИ.
 ЕСЛИ ЖЕ
 ЕГО РАСТВОРЯЮТ
 В ДРУГИХ,
 ОН СТАНОВИТСЯ
 ЧАСТИЧКОЙ
 МАССЫ.



Бесовщина

Александр Яковлев:

послесловие

к перестройке

Художник:

жизнь взаимы?

■ ТАЙНЫ АРХИВА

ГОД НА РОДИНЕ

Розалия ПЛЕХАНОВА

К 8 часам я уже была в санатории у постели мужа. «Ты уже приехала», — сказал он мне каким-то странным, чужим голосом. И лицо у него какое-то серьезное и торжественное... Не видала я в его глазах той радости, которая всегда меня делала счастливой, когда я возвращалась после разлуки. «Что с тобой? Отчего ты такой, точно не рад мне?» — «Я был уверен, что ты не вернешься, что тебя задержат, что с тобой случится несчастье, что я буду один и я вчера целый день готовился к этому. Тяжело было. Но все можно пережить». — «Ведь я обещала тебе вернуться в тот же день и, во всяком случае, на другой день. И зачем ты настаивал, чтобы я поехала, и вид при этом имел совсем спокойный». — «Тебе надо было поехать. Я бы себе не простил, если бы не настоял. Проститься с сестрой было твоей обязанностью. Как ты ее нашла?» — «Очень плохо». И он прочитал на моем лице, что я не застала ее уже в живых. Он замолк. Ему было тяжело на душе, я это видала и, чтобы рассеять его, я начала оживленно и очень подробно рассказывать ему о моих приключениях во время поездки в Петроград и обратно, не коснувшись только посещения бедной сестры моей, и Георгий Валентинович не спрашивал о ней. Но я видала по его грустному лицу и по тому, как рассеянно он слушал меня, что мысль о ней не выходит у него из головы. Наконец, он не выдержал и сказал: «Жалко Анну Марковну, славная, хорошая была женщина. Сколько энергии! Наборолась, настрадалась и исчезла. А впрочем, что смерть?

Продолжение. Начало см.: Диалог. 1991 г., №№ 8—13.

Это слияние с природой. Мы должны ее встречать, как материалисты».

Мысль о том, что он долго не проживет, приходила мужу еще в Сан-Ремо, незадолго до нашего отъезда. Когда мы жили в Царском Селе, он произнес почти пророческие слова: «Чувствую, что мне еще остался год жизни — не больше. Вот вы этого не видите и — не веряете, что я поправлюсь, а я чувствую обратное. Помнишь, Роза, когда в 1886 году я опасно заболел и Ревильо (известный профессор, специалист по внутренним болезням) предсказал мне смерть через шесть недель, я этого не знал, но я видел по твоему лицу, по лицу Веры Ивановны, что вы все очень боитесь за меня, а я, несмотря на температуру в 40 градусов, боли в груди, кашель, был уверен, что выживу. Я чувствовал всем своим существом, что во мне имеется способность к борьбе и что я, благодаря ей, одолею болезнь. А теперь вы надеетесь, вы спокойны, а я чувствую, что нет во мне больше того, что вы, врачи, называете сопротивляемостью болезни. Ну, что делать. Я материалист и смотрю законам природы в глаза. Жалко только, не закончу «Истории русской общественной мысли», да и воспоминания собирался я тебе продиктовать».

Мысль о близости смерти явилась теперь под влиянием известия о кончине сестры, но он не останавливался на ней, как и прежде. Бодрость и глубина принципов взяли верх и теперь, несмотря на крайне тяжелое состояние. Он силой воли отогнал мысль о близкой кончине и опять принялся за работу. Видя нерешительность, проявленную мною при подаче ему, сколько мне помнится, одной из книжек журнала «Вопросы философии и психологии», он сказал мне: «Чего ты боишься, что отвлеченное чтение меня утомит. Ты знаешь мой принцип: учиться и работать надо до последнего дня. Умер — отдохнем».

Но скоро, как я писала уже выше, сказавшись у нас книжный голод. Две книжки журнала «Вопросы философии и психологии» были нам привезены Львом Григорьевичем по просьбе мужа, но наших книг, отложенных Плехановым для работы, не нашли в Петрограде, а в Царское Село съездить не успели. При быстром чтении Плеханова, статьи, интересовавшие его в двух книжках философского журнала, были им скоро окончены, и мы остались без книг. Все в нашей личной библиотеке было прочитано. Муж был глубоко огорчен. А я не могла простить себе своей оплошности. За 40 лет жизни с Плехановым я хорошо освоилась с тем, что для него было более важно и менее важно. Я знала, что, собираясь в путь, он первым делом всегда укладывал свои книги, тетради, а потом уж белье, костюмы и т. д. Работа, куда бы он ни ездил, на сколько времени бы ни ездил, была у него на первом плане. Упустил это из виду теперь,



Похороны Г. В. Плеханова.
Улица 4-я рота, ныне
4-я Красноармейская

в эту нашу последнюю поездку, я нарушила принцип его жизни, я точно сказала ему, что отныне работать ты не будешь, а это был для него почти смертный приговор. Жить — это работать. «Раз к работе неспособен, то жить не должен — чего небо коптить».

Из затруднения меня вывел сам Плеханов. «Ничего не поделаешь. Возьмусь за старое. Бери Фукидида. Тебе будет интересно, и я с удовольствием послушаю. Начни с Пелопоннесской войны». И началось у нас изучение греческой истории. Утром, после вытирания, впрыскивания, вентиляции, я принималась за Фукидида, которому мы посвящали часа два-три, а после обеда, отдав должное полагавшемуся по правилам санатории двухчасовому отдыху, я бралась за Плутарха, для разнообразия. Плеханов, как юноша, восторгался героями Древней Греции, а когда я ему читала речь Перикла, обращенную к афинянам после Пелопоннесской войны, он сиял радостью и все находил, что я недостаточно восторгаюсь... Это чтение прекрасно действовало на состояние духа Плеханова. Он был душевно спокоен, меньше задумывался, более объективно выслушивал редкие известия из России и с театра западных военных действий. Объясняла я это себе тем, что Плеханов страстно любит классическую древность. В молодости он очень интересовался естественными науками, бросил для них юнкерское училище, а в бытность свою в Горном институте с увлечением занимался химией, поражал своими знаниями в этой области своих учителей, которые предсказывали ему ученую карьеру. Но позже, отдавшись революционной и литературной деятельности, он жалел о том, что не получил классического образования. Латинский язык он изучил сам и недурно

его знал, взялся и за греческий, но отсутствие времени не позволило ему изучить его как следует. Он любил читать произведения иностранной литературы в подлиннике и жалел, что не мог читать на древнегреческом языке своих любимцев: Эсхила, Софокла и Эврипида и Аристофана. Он преклонялся перед древнегреческим искусством и страстно любил эпоху Возрождения. Он был строг и требователен к новейшему искусству и сильно не одобрял декадентов как в литературе, так и в живописи.

Самочувствие мужа было в этот период относительно лучше, хотя температура была высокой. Он хорошо питался, отдыхал, мало кашлял, и я сама начала надеяться, что мой пессимизм преувеличен, что организм мужа на этот раз пересилит обострение болезни.

Душевное спокойствие или душевная ясность в настроении мужа длилось недели три. Раз оно чуть-чуть не было нарушено нашим санитаром, который по утрам и вечерам являлся к нам в комнату для исполнения своих обязанностей. «О Вас, Георгий Валентинович, есть статья в социалистической финляндской газете. Жена сказала, она финка, а я по-фински не читаю». «Что же в этой статье?» «Да так, говорят о том, какой Вы были прежде, какой теперь». «Ну, — прервала я его, — это мало интересно, так как Плеханов теперь такой же, как и прежде. Статья должна быть глупая». Разговор прервался, и мы с мужем об этом инциденте не говорили. Я заметила только пробежавшее по лбу облако. Встретив санитаря в этот же день в коридоре, я спросила его, что написано в этой статье, и из слов его поняла, что это повторение неприличной статьи, явившейся в «Правде», за несколько дней до нашего отъезда из Петрограда. Об этой

статье я говорила выше: это был плач «Иудушки» над порчей Плеханова, основателя социал-демократии, учителя нашего и т. д. и т. д., а теперь фигурирующего в списках корниловского, калединского и каких-то других реакционных министров.

Плеханов отказался от участия в министерстве по приезде, несмотря на просьбу Временного правительства, потому что, по своему твердому убеждению и верный штутгартской и амстердамской резолюциям, социалист может взять на себя звание министра только тогда, когда этого требуют исключительные интересы страны, и только с согласия социал-демократической партии. Партия Плеханова в министерство не посылала, а предпочла ему Скобелевых, Гвоздевых и др. Как же бы он вошел в сомнительные демократические министерства? Для всякого добросовестного человека ясно было, что фабриканты министерств тешились, всовывая в списки имя Плеханова, который был им нужен как символ крайней демократичности стремлений с их стороны. Плеханов, и это было всем известно, был прикован к постели еще до переворота 25 Октября. Но большой и умирающий, он все-таки был страшен нашим «товарищам большевикам». И они ему вдогонку, и в Финляндию, послали клевету. А вдруг финляндские товарищи вздумают явиться к нему, поговорить с ним на тему о своевременности в России диктатуры пролетариата...

Плеханов часто в течение своей боевой жизни был предметом невероятно нелепых клевет. Но он к этому относился свысока и отвечал на них только тогда, когда он находил нужным остановить извращение дорогих ему идей. Он любил идейную полемику и, смеясь, говорил, повторяя слова Печорина, «люблю своих врагов, но не христианской любовью». На личные же клеветы он не возражал, а отвечал презрительным молчанием или добродушно подсмеивался над ними в кругу близких. Теперь же, в последние дни его жизни, воспоминания о клеветах, которыми изобиловали страницы «Правды» или скорее неправды и которые были пущены в среду питерского пролетариата, чтобы оторвать его от Плеханова, тягостно на него действовали. Он мне не говорил об этом, но по отдельным словам, намекам я поняла, что он страдает от них. Поэтому меня очень взволновал инцидент с санитаром. К счастью, мне удалось прекратить разговор в начале, и больше санитар к нему не возвращался.

К концу марта явился к нам опять Лев Григорьевич Дейч. На этот раз, как и в первый, привез он письма и газеты,

котомка за спиной его была наполнена всякой живностью. Приехал Лев Григорьевич с намерением остаться с нами долго, помочь мне в уходе за мужем и вместе с тем взять у него кое-какие биографические сведения, написать под его диктовку воспоминания, расспросить его о разных животрепещущих вопросах. Эти намерения нашего старого друга меня, признаться, обеспокоили. Я опасалась того, чтобы инстинкт историка революционного движения не взял у него верх над обязанностями сестры милосердия, в результате от ухода Льва Григорьевича за больным последнему будет не польза, а вред. Чтобы предупредить это, я, улучшив подходящую минуту, заговорила с Львом Григорьевичем о состоянии мужа, предупредив его, что я нахожу состояние его критическим, что силы его уходят, температура высокая... и что поэтому надо быть очень осторожным, не утомлять его сердца, не волновать его и не утомлять его разговорами. — «Конечно, конечно, Роза, я буду осторожен, но Вы, как и всегда, преувеличиваете: он совсем не так опасно болен. Я сегодня поговорю с доктором — директором санатория, и я уверен, что он не так мрачно смотрит, как Вы».

Доктор действительно успокоил Льва Григорьевича, уверив его, что к лету муж поправится, если не произойдет за весну никаких осложнений. А последнее маловероятно, беря во внимание хорошие условия, в которых находится больной. Я дала себя убаюкать, ослабила надзор. Тоскливая обстановка санатория, отсутствие известий с родины со времени отъезда наших молодых друзей, а с этих пор ушли две недели, редкое появление газеты — все это было причиной, что Плеханов алчно набросился на вновь прибывшего, требуя известий, впечатлений. В течение двух дней шли оживленные беседы в комнате моего больного. Последний был бодр, слушал, отзывался на события, давал характеристику «товарищам», стоявшим у власти, припоминал эпизоды из своих столкновений во время эмиграции с «хитрым мужичком» (Лениным) и «Лассалем» (Троцким). Когда я накладывала «вето» на разговоры, Лев Григорьевич спохватывался и сам рассказывал из прошлого или читал мужу вслух Мопассана.

Вечером 17-го марта доктор санатория, ездивший в Петроград на консультацию, привез нам, т. е. мне и мужу письмо от наших дочерей из Парижа. В письме сообщалось о рождении сына младшей дочерью, которая замужем за швейцарцем, литератором Жоржем Батто. Известие это взволновало мужа своей неожиданностью. Он со смущением, причем щеки его сильно порозовели, сказал, обращаясь к тут же присутствующему Льву Григорьевичу: «Вот и стары стали мы с Розой, я уже дедушка, а она — бабушка». Но при этих словах глаза его блистали радостью. Поздно мы не засыпали в



Похороны Г. В. Плеханова.
Процессия на Невском
проспекте

этот памятный для меня вечер. Георгий Валентинович был приятно возбужден, шутил, не называл меня иначе как «бабушка», а я его в ответ «дедушкой». Острил Плеханов также над именем своего внука, которого нарекли именем Клавдий. «В чью честь назвали нашего внука Клавдием? Не в честь ли императора Клавдия? Странно, почему назвали его Клавдием?» Я его утешила, напомнив ему, что это имя носил также знаменитый Клод Бернар¹. Заснули мы поздно. Ночь была спокойна. Разбужена была я утром часов в 7 от стонов моего Жоржа. Быстро вскочив, я открыла электричество и увидела смертельно бледное лицо Плеханова, а в руках пропитанный кровью платок. Успокоив его словами: «Кровохарканье не опасное, мы скоро его остановим», я побежала за сиделкой, так как звонок в этом бывшем когда-то образцовым санатории не действовал. Одновременное впрыскивание морфия и эрготина успокоили кашель и уменьшили кровохарканье. Но муж был чрезвычайно слаб и видимо нравственно подавлен этим первым, за тридцать лет болезни, сильным кровоизлиянием. Это последнее ввиду сильного малокровия большого могло сделаться катастрофическим, если оно повторится. Как я сказала уже выше, Плеханов не боялся смерти, смотрел

на ее приближение трезво и мирился с ней, как с законом природы. Но эту смерть он видел до этих пор в некоторой дали, а пока находил нужным работать, собирался еще кое-что сказать и написать, закончить по мере сил, обязанности по отношению к родине, человечеству, семье. А вдруг она тут, в этом трагическом красном цвете, явившемся сразу, неожиданно, неизвестно откуда. Плеханов был поражен, подавлен.

Целый день мы с Львом Григорьевичем не отходили от постели мужа и грели его холодные руки в своих руках. Кровохарканье длилось целый день и повторилось с некоторой силой к вечеру. К ночи больной мой под влиянием нового впрыскивания морфия с пузырьком льда на груди спокойно заснул. Кровохарканье в уменьшенном виде длилось еще два дня, а на четвертый все улеглось. Муж сделался бодрее, счастливая улыбка человека, избегнувшего смертельной опасности, появилась на устах, и он весело сказал: «Ну, я счастливо отделался, поживем еще немного».

Восемь дней пролежал Плеханов на спине с пузырьком льда на груди и ему впрыскивалась ежедневно небольшая доза морфия. Последний успокаивал его кашель, но возбуждал нервные центры, вызывая оригинальные сновидения, которые отличались странностью и фантастичностью. Утром он мне рассказывал их, и мне казалось, что я слушаю расска-

¹ Бернар Клод (1813—1878) — французский физиолог и патолог, один из основоположников эндокринологии и экспериментальной медицины.

зы Эдгара По². Чувствительность Георгия Валентиновича к опийным препаратам мне была известна давно. Я находила, что у него к ним имеется некоторая идиосинкразия, и за долгую его болезнь старалась как можно реже прибегать к ним. На этот раз, к несчастью, была форсмажор, и без морфия обойтись нельзя было. Я надеялась, что мы прекратим его, как только опасность возобновления кровоизлияния пройдет. Но, увы, явились другие явления, менее опасные непосредственно для жизни мужа, но более мучительные, которые потребовали вновь употребления опийных препаратов.

Мы были счастливы, что отделались, как говорил Плеханов, так дешево, но через десять дней, приблизительно после памятного утра, Георгий Валентинович проснулся часов в 12 с легким приступом кашля, за которым последовало тяжелое удушье, длившееся недолго, но сильно утомившее и обеспокоившее мужа. Эти удушья повторялись с большой правильностью каждую ночь. Первое время эти припадки уступали вдыханию теплых паров. После припадка муж засыпал и пробуждался относительно бодрым. Днем он чувствовал себя недурно, но не было уже тех сил и той мозговой энергии, которую проявлял Плеханов до рокового утра 19 марта. Большой мой уже не настаивал на серьезном абстрактном чтении, не делал записей. Произошел крутой поворот в здоровье Георгия Валентиновича, и жизнь наша в санатории вошла в безысходную трагическую полосу. Я в отчаянии и бессилии следила за тем, как покидают его силы, и процесс в легких все ухудшается. Лев Григорьевич и доктор санатория оставили свой оптимизм.

Плеханов начал задумываться над близостью конца и, несмотря на мой протест, диктовал Льву Григорьевичу завещание и торопил его переписать и найти необходимых свидетелей. Он также охотнее, чем прежде, говорил о себе, о своем детстве, о своем отце, старался растолковать характер последнего и очень огорчился, когда на вопрос Георгия Валентиновича, понял ли он сущность личности Валентина Петровича, Лев Григорьевич ответил: «Что же тут понимать, просто был крепостник».

Георгий Валентинович глубоко уважал своего отца, несмотря на его консервативный образ мыслей. Свою способность к работе, настойчивость в достижении цели, выдержанность ума и характера он приписывает влиянию отца на него

в детстве и в отрочестве. Плеханов признавал, что смерть не за горами, и хотел оставить близким некоторые сведения о своем детстве и отрочестве, опасаясь, что за отсутствием последних эти вехи его жизни будут толковаться вкрявь и вкось.

Мы часто говорили с мужем о необходимости приступить к писанию воспоминаний. Начиная с 1878 г. мы жили с ним одной жизнью, одними впечатлениями, много пережили бурных политических моментов до нашей эмиграции, а в длинную, увы, слишком длинную жизнь в изгнании многое пережили, многих перевидали. Необыкновенная память мужа, его способность живо и образно рассказывать — все это заставляло предвкушать то наслаждение, которое я буду испытывать, когда он будет диктовать свои воспоминания. Я убеждена, что эти последние были бы неоцененным вкладом в историю дворянских нравов 2-й половины 19-го столетия, с одной стороны, и историю революционного движения, начиная с 70-х годов до современной эпохи, с другой. Плеханов часто говорил: «Вот покончу с «Историей русской общественной мысли», тогда возьмемся за воспоминания. Я тогда усажу тебя, Роза, мне хочется продиктовать их именно тебе». Но мечтам нашим не суждено было осуществиться. Хотя Георгий Валентинович мало-помалу поправлялся после кровохаркания, возвращался аппетит, возвращались силы, но температура не снижалась, несмотря на борьбу с ней, и ночные припадки удушья не исчезли. Я решила вызвать из Петербурга когнибудь из крупных светил на консультацию и, посоветовавшись с доктором Циммерманом, написала В. Н. Сиротину слезное послание. На него не последовало ответа. Я была в отчаянии, так как верила в Сиротинина, и муж к нему относился с большой симпатией.

Директор санатория д-р Циммерман предложил тогда вызвать д-ра Штернберга, одного из лучших, по его мнению, специалистов по легочным болезням. Я с радостью согласилась на это.

К середине апреля явился к нам в санаторий д-р Штернберг, очень внимательно исследовал моего больного, подробно расспросил меня и врача заведение о ходе болезни, долго всматривался в температурный листок и поставил диагноз туберкулез легких, осложнившийся острым диплококковым воспалением, причиной которого было кровохаркание. По его гипотезе, и прежде должны были происходить от времени до времени маленькие внутренние кровоизлияния, и эти последние вызывали частичные воспаления легочной ткани. Этим надо объяснить скачки в температуре. Причину частых кровоизлияний надо искать в волнениях, передвижениях и всем образе жизни больного со времени оставления им тихого места жительства в Италии.

² По Эдгар Аллан (1809—1849) — американский писатель и критик, родоначальник детективной литературы.

На этот раз интенсивное воспаление нижней и верхней долей левого легкого вполне соответствует значительному легочному кровоизлиянию. Состояние тяжелое, несомненно, но бодрость больного, относительно недурное состояние общего питания, недурная работа сердца и удовлетворительное состояние правого легкого — все говорит за то, что Георгий Валентинович поправится, тем более что наступает весна, дни делаются теплыми, солнечными. Быть может, понадобится позже, когда воспалительный процесс войдет в казеозный фазис, прижать левое легкое небольшим искусственным пневмотораксом. Посоветовал отхаркивающие и небольшие дозы дионина, чтобы побороть ночные удушья. Плеханов очень бодрился, повеселел после этой успокоительной консультации, я тоже была успокоена, хотя не верилось мне, чтобы правое легкое было в удовлетворительном состоянии, и осталась при своем мнении относительно возможности применения пневмоторакса. Но это дело будущего. Пока мне хотелось верить, что не все пропало, что Плеханов будет жить на счастье его близких и на благо родины.

Соединение отхаркивающего и дионина действительно успокоили ночные припадки, сон сделался спокойнее, самочувствие лучше, надежда вошла в наши души. Одно только тревожило меня. Плеханов мало ел, быстро уставал за едой и не требовал себе книг для работы. Это был плохой признак: жизненная энергия, которая так характерна была для него раньше до кровоизлияния, еще к нему не вернулась. Вернется ли она? Надо, чтобы она вернулась. Иначе Плеханов жить не может, как я уже сказала выше: он был требователен к людям, а в особенности к себе. Жизнь без работы он находил ненужной, недостойной.

Я не ошиблась. Очень скоро эта жизнь без дела начала его тяготить, и он сказал мне как-то с тоской: «Роза, я тебе завидую, ты делаешь достойную человека работу, отдаешь себя уходу за больным,

за мной, но я, отнимая у тебя время и силы, чего я стою? Зачем такая жизнь?» На этот раз мне удалось его успокоить, убедить даже, что он поправится, привела ему ряд примеров о больных моего санатория в Сан-Ремо. Они страдали тем же, что и он, и покинули санаторий вполне оправившимися. Нельзя же проявлять такое нетерпение, со времени кровоизлияния прошло два месяца, а он хочет, чтобы все последствия его прошли. Это невозможно. Нужно время, и д-р Штернберг сказал, что поправка пойдет медленно, но дело идет к ней. Муж поверил, успокоился.

Лев Григорьевич был еще у нас. Мы делили с ним дневные часы и уход за мужем, иногда он замещал меня и ночью. Благодаря этой неоценимой помощи я могла иногда дышать свежим воздухом, отдохнуть, заняться в своей комнате корреспонденцией, чтением. Но этому скоро был положен конец.

Около 25-го апреля, т. е. (спустя. — Публ.) несколько дней после консультации, Лев Григорьевич заявил нам, что ему надо вернуться в Петроград, так как он обещал быть на заседании, где будет обсуждаться вопрос о материнском обеспечении В. И. Засулич. Мне грустно было расстаться со своим помощником, но я не удерживала его, так как он в последнее время начал нервничать, потерял свой такт в отношениях к больному Плеханову, обижался на его самые безобидные шутки. Я приписала это усталости Льва Григорьевича и нашла, что, съездив в Петроград, он с большой радостью и скоро вернется к нашему больному, которого он искренно и нежно любил. Как я жалела впоследствии, что не удержала нашего друга и не воспротивилась его отъезду. В самую тяжелую минуту моей жизни я была одинока без близкого, без помощи, а Георгий Валентинович умирал с тоскливой мыслью, что он оставлен друзьями.

(Продолжение следует)

СОЛОН — ЭПИМЕНИДУ. «Вижу: ни мои законы не были на пользу афинянам, ни ты твоими очищениями не помог согражданам. Ибо не обряды и законодатели сами по себе могут помочь государству, а лишь люди, которые ведут толпу, куда пожелают. Если они ведут ее хорошо, то и обряды, и законы полезны, если плохо, то бесполезны. Мои законы и мое законодательство ничуть не лучше: применявшие их причинили пагубу обществу, не воспрепятствовав Писистрату прийти к власти, а предостережения моим не было веры: больше верили афиняне его лести, чем моей правде. (...) ..человек этот небывалыми средствами домогался тирании. Поначалу он был народным предводителем. Потом он сам себя изранил, явился в суд и возопил, что претерпел это от своих врагов, в охрану от которых умоляет дать ему четыреста юношей. А народ, не послушав меня, дал ему этих мужей, и они стали при нем дубинщиками. А достигнув этого, он упразднил народную власть. Так не вотще ли я радел об избавлении бедных от кабалы, если ныне все они рабствуют Писистрату?»

Диоген ЛАЭРТСКИЙ

15/1991 октябрь

ВО ИМЯ СТАБИЛЬНОСТИ, МИРА И СОГЛАСИЯ

АХ, ХОРОШО БЫ
 ШАГНУТЬ
 ЗА РАМКУ,
 УВИДЕТЬ
 ПТИЦУ, СЕСТЬ
 В ТРАВУ
 И УСПОКОИТЬСЯ.
 ТАК БУДЕТ.
 ПРОСТРАНСТВО
 ПОКОЯ, ТЕПЛО
 НАДЕЖДЫ, И МЫ
 В ЭТОМ
 ПРОСТРАНСТВЕ
 СВОИ ЛЮДИ.
 БУДЕТ, БУДЕТ...
 А МОЖЕТ,
 ВСЕ-ТАКИ —
 ЕСТЬ?
 И ГДЕ-ТО
 СОВСЕМ РЯДОМ,
 И В ТЕБЕ,
 И В НЕМ,
 И В НЕЙ,
 И В НАС?
 ХВАТИЛО БЫ
 СИЛ — ВИДЕТЬ



Вооружимся поголовно!

**О бюрократии спросите
 Вебера и Ленина**

■ ТАЙНЫ АРХИВА

ГОД НА РОДИНЕ

Розалия ПЛЕХАНОВА

Теперь, когда я приближаюсь к концу рассказа о нашей второй эмиграции, к тяжкому периоду нашей жизни в Финляндии, я для большей ясности нашего положения, хочу сказать несколько слов об окружавшей нас внешней и внутренней обстановке.

Я писала уже выше, что мне стоило больших усилий уговорить мужа покинуть Россию и ехать в Финляндию лечиться. Бросать Россию в такой тяжелый, критический для нее момент ему казалось дезертирством. Хотя он и мало писал за время пребывания своего во Французской больнице, но он хотел жить на родине и касаться непосредственно ее судьбы, ее переживаний. А писал он мало отчасти потому, что здоровье его уже в это время было очень плохо, а главным образом потому, что находил, что народ, пролетариат, с которым он хотел и должен был говорить, останется глух к его словам. «Успех большевизма», говорил он, основан на народной отсталости, а угар, охвативший рабочих, рассеется только со временем, когда он убедится на деле, что слова нашего учителя Энгельса: «Не может быть большего несчастья для рабочего класса, как преждевременный захват власти» — не пустые слова, а глубокая истина. Поэтому надо быть здесь, чтобы помочь пролетариату разобраться и понять, что он идет по гибельному пути, надо, чтобы сознательный пролетариат шел в среду своих заблуждающихся братьев и, рискуя свободой и жизнью, распространял среди них идеи научного социализма. «Сорок лет, — говорил Плеханов, — я отдал этой пропаганде, но я вижу, что ни пролетарская масса, ни значительная часть интеллигенции не поняли моих идей, ни идей наших учителей Маркса и Энгельса. Но не надо унывать. Начнем сначала, с А.Б.В.»

На отъезд согласился Плеханов только потому, что граница была свободна, и



Похороны Г. В. Плеханова

ему было обещано, что его будут держать в курсе событий, деятельности нашей группы, что будут привозить на просмотр статьи и брать его работы, что будут устраивать у него совещания редакции газеты «Единство» два два в неделю, словом, он не будет оторван от Петрограда. Ведь Териоки — дачное место и находится на расстоянии часа езды от столицы. Плеханов дал себя уговорить. О гражданской войне, которая уже в то время предвиделась, никто из нас не подумал, о том же, что мы можем очутиться оторванными от Петрограда и близких, если и приходила мысль, то на ней ни я, ни друзья не останавливались.

Мною руководило одно: увезти Плеханова от антигигиенических условий Французской больницы, от петроградского климата, от большевистских ужасов и поставить его в надлежащие условия для лечения.

Когда мы покидали Россию, сношения с Финляндией были хотя и несвободны, но паспорта выдавались сравнительно легко. Это было до захвата власти финляндскими социал-демократами. Но скоро произошел социалистический переворот, и началась гражданская война. Строгости в выдаче пропусков в Финляндию, из Финляндии в Россию усилились. О частых посещениях мужа членами редакции «Единство», устройстве совещаний не могло быть и речи. С трудом добились паспортов наши молодые друзья

Каськи и Лев Григорьевич. Мы были очень огорчены этой редкостью сношений, трудностью в добычании газет, получений сведений с родины. Но все-таки мы не были совершенно оторваны от нее. Так длилось до конца апреля.

Владычество социал-демократов и вызванная им гражданская война, хотя и внесла сильные ухудшения в условия жизни санатории (уменьшение количества и ухудшение качества хлеба, ухудшение качества молока и вздорожание платы за содержание), но в общем мы на товарищей жаловаться не могли. Сколько мне помнится, местная социалистическая администрация всячески старалась, чтобы в санатории было все необходимое доставлено, хотя ей было заведомо известно, что симпатиями она среди жильцов санатории не пользуется. Раз даже к доктору явились красногвардейцы и заявили ему, что они знают, что за столом санатории ведутся антиреволюционные разговоры, чтобы этого не было, иначе власти будут вынуждены закрыть санаторию. Доктор заведения, который рассказал нам об этом посещении, тут же выразил уверенность, что недолго им царствовать, что победят, несомненно, белогвардейцы, и тогда санатория будет благоденствовать. Все будет: и мука, и хлеб, и молока вдоволь. Но этим иллюзиям директора санатория Питкеярви не пришлось осуществиться: после вступления белых в наши края санаторий почти совсем не мог существовать, и большинство больных, среди которых были очень тяжелые, были отправлены в Петроград.

Приближение и победа белой гвардии была катастрофой для нашего мертвого дома. Среди низшего служащего персонала началась настоящая паника: почти весь он, в особенности финляндская часть сочувствовала социалистическому финляндскому правительству и так или иначе помогали Красной гвардии. Одна из наших самых милых девушек за несколько дней до прихода финляндско-шведско-немецкой армии в наши края отправилась в Красную армию в качестве сестры милосердия и погибла на своем славном посту несколько дней спустя. Вообще я считаю обязанностью своей сказать здесь, что в нашу беду в финляндском санатории мы ничего не слышали о жестокости финляндской Красной гвардии. Наоборот, «культурность» маленькой Финляндии сказалась и в деяниях революционного народа и ее революционных вожаков. Только здесь, в Европе, я слышала о жестокостях, будто бы проделанных финляндской Красной армией. Я этому не верю, а что белая гвардия после победы прибегла к жестоким кровавым репрессиям — это

был факт, не отрицавшийся и буржуазией.

Паника, сказавшаяся среди служащих санатория, вызвала их повальное бегство, и мы остались без санитаря и с очень немногочисленной прислугой. Единственная сестра милосердия на весь дом, очень милая, но слабая здоровьем девушка падала с ног от усталости. А между тем в состоянии здоровья мужа в последних числах апреля произошла сильная перемена к худшему. Аппетит уменьшался; как ребенка, я его упрасивала съесть еще кусочек, сделать еще глоток, он делал это для моего успокоения, но ел с видимым отвращением и горько жаловался на меня приехавшему к нам на день, скоро после отъезда Льва Григорьевича моему шуруину д-ру Дука-ту на мои приставания с едой. Это обстоятельство было для меня плохим признаком. Плеханов не делал над собой усилия, его покинула энергия борьбы с болезнью. Я видела в этом начало катастрофы и не ошиблась. Мой больной тоже чувствовал, что силы его уходят, и с особенной тревогой говорил о том, что Лев Григорьевич, несмотря на его просьбы, не переписал завещания, не нашел свидетелей. Чтобы успокоить его, мне самой пришлось взять на себя эту тяжелую миссию. Когда завещание было готово, Плеханов вздохнул свободно, он освободился от лежавшей на нем тяжелым камнем обязанности. Но вместе с тем я почувствовала, что, снявши этот камень с его души, я как будто дала ему понять, что смотрю на его состояние как на безнадежное.

В то время, когда я прежде протестовала каждый раз, когда он заговаривал о завещании, на этот раз я без протеста исполнила его настойчивое желание. Это был косвенный приговор. В тот же день Георгий Валентинович заговорил со мной о том, как я думаю устроиться, когда его не станет: «Ты поедешь к детям, живи с ними и скажи им, что я их очень любил и люблю». Но этому разговору я воспротивилась, заявив ему, что напрасно он уже готовится к смерти, что он поправится, он будет жить, что без него и моя жизнь не жизнь, что я никогда не думала и не хочу думать о том, как я буду жить без него. «Вот какая ты, Роза, — сказал он мне с упреком, — с тобой и коснуться этого вопроса нельзя, между тем надо же...»

К началу мая мы остались почти без низшего персонала, больных в санатории было немного, и администрация воспользовалась этим обстоятельством, чтобы сосредоточить всех пациентов в одном этаже для облегчения работы служащих. Таким образом, я устроилась с моим больным в последний месяц его жизни в этаже с теплым коридором, о котором мечтала со дня приезда в санаторий, но которого не могла добиться несмотря на неоднократные просьбы, так как доктор санатория был человек пра-

вила, а последнее гласило: нижний этаж — для мужчин, верхний — для женщин.

Горничная-сиделка являлась по звонку, но не было никого, кто бы мог заместить меня при больном на час, два и дать мне возможность отправиться в деревню на поиски за свежими яйцами, хорошим молоком и курицей для Плеханова. Пища в санатории сделалась совершенно неподходящей для плохого желудка моего Георгия Валентиновича: мясо твердое, которое даже в рубленом виде не мог проглотить Плеханов, молоко снятое с примесью извести для густоты, яйца почти не давались.

Чувствовала я громадную усталость и опасалась, что она плохо отразится на уходе за моим больным. Как раз в это время, это было около середины мая, я отправила с оказией письмо к друзьям в Петроград со слезной мольбой прислать мне кого-нибудь на помощь. Но я никого не дождалась. Мы были отрезаны от всего мира. Впоследствии я узнала, что многие из моих друзей, узнавши об опасном состоянии Плеханова и о том, что я одна при нем и нуждаюсь в помощи, бросились к нашим большевистским властям с просьбой дать им пропуск в Финляндию, но на просьбу получали глупую и жестокую отповедь: «Вы там совсем не нужны, Плеханов и без вас обойдется». Так ответили моей приятельнице д-ру М. К., так ответили моему другу отрочества и товарищу по женским медицинским курсам С. Ч.!

Но свет не без добрых людей. О том, что мне нужна помощь в уходе за мужем, узнала мать одного из пациентов санатория Мария Генриховна Эмерих и в одно прекрасное время постучалась ко мне и предложила свои услуги. Зная, что Георгий Валентинович очень стесняется, когда за ним ходят чужие люди, я, с его согласия, попросила ее приходить только по вечерам на часок, чтобы почитать ему вслух. В первый раз когда мы ждали прихода г-жи Эмерих, Георгий Валентинович, мало заботившийся в последнее время о своей внешности, попросил меня привести его волосы и бороду в порядок. — «Что ты, Жорж — ты и так хорош, да и г-жа Эмерих нетребовательна, она не молода и знает, что значит иметь дело с больным». — «Нет, так нельзя, приличие прежде всего. Явится ко мне незнакомая дама, и я не хочу иметь вид больного плохо причесанного. Кроме того, сегодня неловко будет заставить ее читать. Надо ее занять».

Я удивилась вернувшейся бодрости Георгия Валентиновича, но еще больше была я поражена, когда после первого обмена приветствиями муж завел разговор о Польше, польской литературе, попросил ее рассказать ему историю и значение польских гимнов, которые он очень любил и сам недурно исполнял.



От монархиста
В. Пуришкевича

Разговор был так интересен, Георгий Валентинович был так блестящ, что я забыла об отдыхе, прогулке и душа моя наполнилась надеждой. Что же касается г-жи Эмерих, она, видимо, была поражена и очарована умом и знаниями Георгия Валентиновича в области польской литературы и истории. Несмотря на кажущуюся бодрость и его увлечение разговором, я постаралась его прекратить, опасаясь дурных последствий его для больного. Уходя, я попросила г-жу Эмерих не давать ему говорить, а читать вслух. Но когда я вернулась полчаса спустя, я, к своему огорчению, застала мужа разговаривающим и, когда по уходе г-жи Эмерих я его упрекнула в неосторожности, он мне объяснил, что г-жа Эмерих, по-видимому, забыла цель своего посещения и задавала ему вопрос за вопросом, и он считал неприличным не отвечать.

Усилие, сделанное Плехановым над собой, повлекло большую усталость на другой день, и, по его же просьбе, я энергично внушила г-же Эмерих, что разговоры Плеханову абсолютно вредны.

— «Разве? — спросила меня моя помощница. — Плеханов так бодр и какой он интересный!»

Это был последний разговор Плеханова, г-жа Эмерих была последней жен-

¹ М. К. и С. Ч. — не расшифрованы.

История

щиной, испытавшей очарование и обаяние ума и знания Плеханова. Этот разговор был вспышкой потухающего огня.

* Состояние его ухудшалось с каждым днем. Ночные припадки удушья, исчезнувшие было под влиянием сильных доз дионина, вернулись и сделались мучительно длительными. К препаратам опия приходилось прибегать с большой осторожностью, т. к. Георгий Валентинович их плохо переносил. Средство, которое в этих случаях всегда приносит облегчение, это вдыхание кислорода, но в санатории не оказалось его. Нельзя было доставить его и в Териоках, и отказались выслать из Выборга. В Петрограде у друзей оставлен был мною на хранение железный цилиндр с кислородом, которым я запаслась еще в Лондоне, по пути в Россию, опасаясь осложнений в здоровье Плеханова во время путешествия по морю.

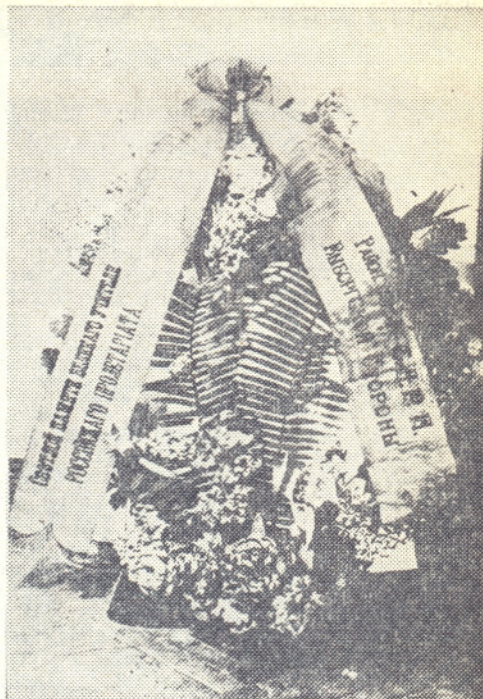
Этот цилиндр нам не нужен был ни в Царском Селе, ни во Французской больнице. В Финляндии он был бы благодарен, но, несмотря на мои просьбы, мне не могли его доставить. Таким образом, умирающий Плеханов не мог иметь для облегчения своих страданий в образцовом санатории благодаря разрухе, оторванности от большого центра, того средства, которое в обыкновенное время облегчает последние минуты больных в самых плохоньких земских и городских больницах.

В последние дни, предшествовавшие концу, несмотря на тяжелые ночи, Плеханов казался бодрым, днем слушал с вниманием чтение, интересовался ходом войны на Западном фронте, огорчался отсутствием газет, сведений, и был несказанно рад и счастлив, когда до нас дошли запоздалые, отрывочные устные известия о том, что дела Франции поправляются, немцы оставили свое продвижение к Парижу, «Франция должна жить, — повторял он, — гибель Франции — это гибель Европейской культуры».

Эта бодрость, которая являлась у Плеханова, благодаря его сильной воле, вводила в заблуждение наших редких посетителей и самого доктора санатория. Последний в середине мая был далек от мысли, что Плеханов доживает свои последние дни.

Но я, не покидавшая его ни на одну минуту и следившая с ужасом и болью

* Эта часть воспоминаний Р. М. Плехановой была опубликована в журнале «Заря», №№ 5—6 за 1924 г. Журнал «Заря», орган социал-демократической мысли, издавался в Берлине в 1922—1925 гг. группой русских социал-демократов, в число которых входили А. Байкалов, А. Брайловский, И. Гольдман, С. Загорский, А. Зунделевич, Ст. Иванович, Л. Исаев и др. Для журнала писали К. Каутский и О. Бауэр.



От районной организации РСДРП Выборгской стороны

в сердце за уходом дорогой мне жизни, начала замечать, что он устремляет взор в пространство, что он уходит от меня, что какая-то сосредоточенная задумчивость выражается на его лице. Тяжело было мне видеть этот устремленный в пространство взгляд. Я отрывала его от тяжелых дум, спрашивала его, над чем он задумывается, и из уклончивых его ответов я заключала, что он подводил итоги своей жизни, припоминал измену друзей, неблагодарность учеников, их отравленные злословием клеветы, малое проникновение его идей в массы, немногочисленность сознательного пролетариата, мне казалось, что перед ним стоял вопрос: зачем? к чему? Зачем он страдал и мучился всю жизнь? К чему все привело?.. Обыкновенно он охотно отрывался от этих дум и говорил: «Ты права, не надо думать, расскажи мне что-нибудь или почитай».

15-го мая рано утром муж проснулся в тоскливой тревоге и вскрикнул: «Я задыхаюсь. Я умираю». Я подскочила к нему, приподняла его, освободила тампоном его горло от массы густой гнойной слизи, он вздохнул свободнее и лицо приняло более спокойное выражение. Тут же он попросил меня взять карандаш, бумагу, намереваясь сейчас же продиктовать детям прощальное письмо. Я послушалась, села, он продиктовал: «Моим детям». Но он был бледен, неровно дышал, находя крайне вредным для него всякое волнение в данную минуту, я уговорила его оставить письмо на потом. «Ну хорошо, ты им скажешь, что я

их очень любил». «Да ты сам им скажешь лично это, — успокоила я его, — ты поправишься, вот наступают прекрасные дни и двинемся к ним».

Не знаю, хорошо ли поступила я, стараясь отвлечь Георгия Валентиновича от мысли о смерти, вызывая в нем надежду жить, работать, видеть детей. Мои товарищи и друзья были на меня в претензии за то, что я не привезла с собою в Петроград политического завещания Плеханова, а дети мои были огорчены тем, что я не привезла им прощального письма от отца их. Но, признаюсь, у меня не хватало духу говорить с ним об этих его предсмертных обязанностях, я старалась, чтобы он как можно меньше чувствовал приближение смерти.

Начиная с 20-го мая состояние мужа ухудшалось с каждым часом, и дело пошло быстрым темпом к трагической развязке.

21-го утром Георгий Валентинович озадачил вначале, а потом поразил меня, точно тяжелым ударом, вопросом: «кто мне писал из берлинцев?». Слово это он произнес невнятно и когда я переспросила, он попросил карандаш и написал их неровным едва узнаваемым почерком. В этот же день, когда я вошла в комнату после 10-минутной отлучки, он меня спросил, была ли я у г-жи Минкевич, и, когда я удивилась его вопросу, он спросил меня: — «А разве не жил у нас Мицкевич?» В этот же день Георгий Валентинович принял доктора санатория за Вандервельде². Плеханов начал бредить. Нашли сумерки на этот ясный, глубокий ум. Это было невыносимо. Это тяжелее было вынести, чем его физические страдания.

Бред возобновлялся каждый раз, когда Плеханов бывал предоставлен самому себе, но, когда, заметив его взор, устремленный в одну точку, где он видел образы своей больной фантазии, я отвлекала его к действительности, он говорил: «Лучше почитай, или скажи что-нибудь, а то мне все что-то мерещится». Я бралась за книгу, стараясь читать как можно тише и монотоннее, или рассказывала ему что-нибудь тихим голосом в надежде, что он успокоится и заснет тихим сном. Но Георгий Валентинович и в эти часы относился серьезно к чтению и требовал, чтобы я читала внятно, и прекрасно следил за содержанием прочитанного. Эта двойственность, эта борьба сильного, здорового мозга с наступающим шквалом болезни трогала меня до глубины души, мучила до терзания. Эту способность сосредоточиться при чтении Плеханов сохранил до кануна смерти.

Бред его был полон интереса и содержания. Берлинцы, т. е. бывшие друзья, изменившие интернационалу, германский



От рабочих Обуховского завода

пролетариат, на успехи которого он когда-то возлагал светлые надежды как на инициаторов устройства будущего, изменил социализму, проникся империалистическими идеалами. Плеханов глубоко страдал от этих измен раньше, и мысль об этом питала его бред.

Раз утром Г. В. Плеханов сказал мне с глубокой грустью: «А русских гонят из Украины». Я успокоила его, уверив его, что этого нет, что, наоборот, судя по газетам, движение малорусского народа скорее основано на стремлении его объединиться с Россией, на общих народах, русскому и украинскому, интересах.

Украину Плеханов горячо любил, любил ее природу, народ, его песни, считал ее неотделимой частью России, а разрыв между этими двумя сестрами находил губительным для развития каждой в отдельности, губительным для создания в будущем сильного пролетариата, сильной социалистической партии.

В бреду, как наяву, он защищал эти любимые, дорогие ему идеи от каких-то ставших перед его глазами врагов. (Дня за три до кончины, после легкого обеда, он заснул, казалось спокойно, но короткое время спустя открыл глаза, начал страстным шепотом говорить, глаза у

² Вандервельде Эмиль (1866 — 1938) — бельгийский политический деятель, один из лидеров II Интернационала. После Февральской революции приезжал в Россию для агитации за продолжение войны.

него горели гневом и обличением, и вдруг, сделав энергичный жест рукой, громко сказал: «Пусть не признают моей деятельности, я им задам». Уверенность в правоте своей, в правоте дела, которому он отдал жизнь, из-за которого претерпел скитания и длинное изгнание, не оставляла его и в минуты мучительной болезни).

Здесь я позволю себе сделать маленькое отступление. После смерти Плеханова, на которую с таким глубоким сочувствием отозвались все слои русского общества, я и Лев Григорьевич Дейч были приглашены на траурное собрание в память его, организованное народными социалистами. Были произнесены прекрасные, глубоко тронувшие меня речи, тем более тронувшие меня, что они были произнесены людьми той партии, с которыми покойный не одну шпагу сломал. В одной из речей, произнесенной уважаемым товарищем В. В. Водовозовым³, говорилось о разочаровании Плеханова в пролетариате; разочаровании, которое, как мне казалось (я, к сожалению, пришёл к концу этой речи), оратор находил логическим следствием ложной теоретической позиции Плеханова, позиции социал-демократа.

Считаю своей обязанностью сказать здесь, что Плеханов не был разочарован и не потерял веры ни в русский, ни в западный пролетариат.

Увлечение анархо-синдикализмом Ленина он приписывал недостаточной сознательности пролетариата, вытекавшей из отсталости наших экономических отношений, с одной стороны, и народным страданием и неудовлетворенностью его, с другой. Он рассматривал, как я сказала выше, русскую революцию (ленинского типа) как эпилог 61-го года. Солдату, крестьянину сулили землю. Он все бросил и побежал в деревню. На деморализации солдата, крестьянина и был основан большевистский переворот. Пролетарское движение в России было еще слабо и молодо и сбить пролетариат с толку талантливым ученикам не Маркса, а Бакунина, какими явились Ленин и Троцкий и их последователи, нетрудно было. Но Плеханов верил, «что здоровые силы нашего пролетариата возьмут верх и что в будущем он займет почетное место в рядах Интернационала».

Ко времени появления бреда у моего больного произошло новое осложнение в его болезни: это появление флебита правой ноги. Осложнение это было признаком крайне тяжелого состояния болезни. Я опять настаивала на консультации.

³ Водовозов Василий Васильевич (1864 — 1933) — публицист, юрист и экономист, автор статей по социально-экономической и политической истории. В 1917 г. был сотрудником газеты «День».

После трехдневного ожидания явился к нам профессор Гельсингфорского университета, известный **Талквист**. Осмотрев мужа, он нашел состояние его безнадежным, сердце плохо работающим. Советовал продолжать впрыскивания камфоры и кофеина и на ночь прибавлять, как мы это делали до сих пор, небольшие дозы морфия с камфорой против припадков удушья. На мой вопрос, сколько времени, по его мнению, может еще продлиться жизнь мужа, он ответил, что в таком состоянии он может еще прожить месяца два. Я не верила своим ушам. Мне казалось, что друг мой от меня уходит большими шагами, я с ужасом видела приближение конца, и вдруг передо мной еще два месяца. Надежда опять вернулась ко мне. Два месяца! За это время можно его еще спасти. Я созову еще консилиум. Но на этот раз, как и прежде, характер и сила воли Плеханова обманули ученого профессора. Георгий Валентинович казался бодрым, отвечал на вопросы, расспрашивал о новостях, и в голове профессора создавалось впечатление, что больной хотя и безнадежен, но еще может протянуть.

Профессор Талквист был у нас около 29-го мая. Температура перед этим начала еще понижаться и держалась все время до 30-го мая на небольшой высоте. Но в состоянии больного не происходило параллельного улучшения, силы заметно слабели, несмотря на то, что я силилась его питать, и несмотря на впрыскивания больших доз камфоры, кофеина. Удушья не прекращались ночью, но были менее продолжительными и менее мучительными, бред же не прекращался, явились даже галлюцинации зрения. Раз он сказал, что видит сидящие греческие статуи на дереве, другой раз, что в ногах его постели сидят три парки с ножницами, готовые перерезать нить его жизни.

28-го мая утром, после припадков удушья у моего уходящего друга было такое страдальческое измученное лицо, что я не могла смотреть на него без слез и, несмотря на все мои усилия, они брызнули из моих глаз. Георгий Валентинович сделал мне строгий заслуженный выговор: «Что ты, Роза, как тебе не стыдно. Мы с тобой старые революционеры и должны быть тверды — вот как», причем он согнул в кулак свою слабую, дрожащую руку.

29-го мая в состоянии моего друга произошло маленькое улучшение. Он не бредил, глотал охотно жидкую пищу, но был слаб, и его одолевал сон. Ночь с 29-го на 30-е была относительно недурна. Не было припадков кашля, ни последующего удушья. В шесть часов утра он проснулся с большой жаждой. Выпил почти залпом стакан теплого чая с молоком и сказал: «C'est délicieux» * с таким ясным,

* Восхитительно (фр.).

отчетливым произношением, что поразило меня и обрадовало. Последние два дня он говорил с трудом по утрам из-за накопившихся за ночь отделений из бронхов и приходил в себя только после тщательного туалета зубов, десен и языка. Пульс до впрыскивания камфоры был немного частый, но полный, сильный. Это совпало с высокой, давно не бывшей у него, утренней температурой 39 град., но самочувствие было недурное, он был при полном сознании, хорошо вынес утренний туалет, который я ему сделала при помощи садовника, заменившего санитара. Живя эти дни без надежды, я начала опять надеяться, и встретившей меня в коридоре сестре милосердия с радостью сообщила, что сегодня Плеханову гораздо лучше. Мое настроение все утро было радостное, приподнятое, на меня нашла какая-то странная слепота. Георгий Валентинович дремал после туалета, а я вышла в смежную комнату, где ждала моих распорядительниц г-жа Эмерих, которая продолжала приходить ко мне ежедневно на несколько часов, а иногда заходила к мужу на 30 минут — час, чтобы меня заменить. Попросив г-жу Эмерих приняться за еду, не дожидаясь меня, я вернулась к мужу, чтобы дать ему напиток. Я застала его в забытии и на мое предложение выпить чего-нибудь он совершенно отчетливо спросил меня: «Разве уже пора? Кажется, ты мне давала напиток четверть часа тому назад». Я сказала, что нет, прошло уже два часа. «Ну, хорошо, в таком случае дай». Я подала ему маленький стаканчик чая с молоком. Едва вобрав ложку жидкости, он всплеснул руками, вскрикнул, моментально начались конвульсии лица и левой руки, и дыхание остановилось. Обезумевшая, я начала звать м-м Эмерих. Она не откликнулась несколько секунд, но эти секунды мне показались вечностью. Немедленно позван был доктор, сиделки. А пока я, уверенная, что Плеханов задохся от глотка, начала делать ему искусственное дыхание, ритмическое вытягивание языка, Плеханов вздохнул еще раз, два: лицо покрылось смертельной бледностью, и когда доктор пришел минуты через три, сердце перестало биться.

Стокгольм. Декабрь 1918 г.



События августа 1991 г. спрессовали время, резко убыстрили движение советской системы к открытому обществу.

В чем суть этого процесса? Свой вариант ответа на этот вопрос

предлагает

известный американский бизнесмен и общественный деятель Д. Сорос. Его книга — это как бы «взгляд со стороны», критический, но доброжелательный, оригинальный и не лишенный спорных моментов.

Особое внимание автор уделяет анализу путей искоренения догматизма, формирования критического способа мышления как одной из решающих предпосылок утверждения в нашей стране рыночной экономики, правового демократического государства, гражданского общества.

